

## БОРИС ЗАЙЦЕВ



ЗАЙЦЕВ Борис Константинович — известный русский писатель, мемуарист, драматург и переводчик; яркий представитель русской эмиграции первой волны. Родился в городе Орле 29 января (10 февраля) 1881 г. По происхождению — дворянин. Детство провёл в селе Усты Жиздринского уезда Калужской губернии. Первоначальное образование получил под руководством гувернанток. В Калуге учился в классической гимназии (1892–1894). Окончил Калужское реальное училище. Учился на химическом отделении Московского технического училища (1898–1899, был исключён за участие в студенческих беспорядках), в Горном институте в Санкт-Петербурге (1899–1901; не закончил), на юридическом факультете Московского университета (1902–1906; не закончил). Писать начал с 17 лет. Осенью 1900 в Ялте познакомился с А.П. Чеховым. В июле 1901 дебютировал рассказом «В дороге» в «Курьере». В 1902–1903 гг. познакомился с И.А. Буниным, с которым долгие годы поддерживал дружеские отношения. В декабре 1916 поступил в Александровское военное училище, в марте 1917 был произведён в офицеры. В брошюре «Беседа о войне» (Москва, 1917) писал об агрессивности Германии, проводил идею войны до победного конца. Страдания и потрясения революционных лет привели Б.К. Зайцева к осознанному принятию Православия. С этого времени через все его творчество проходил главный мотив смирения, понимаемого как мужественное принятие испытаний, посылаемых Богом. В произведениях Б.К. Зайцева, по его словам, «хаосу, крови и безобразию» противостояли «гармония и свет Евангелия, Церкви». Писатель не впадал в озлобленность, он призывал современника-интеллигента к покаянию, любви, кротости и милосердию.

В рассказах того времени («Душа», «Белый свет», «Уединение») Б. Зайцев писал о революции как о закономерном возмездии за «распушенность, беззаботность... и маловерие».

В 1922 Б. Зайцев избран председателем Московского отделения Всероссийского союза писателей. Работал в Кооперативной лавке писателей. После забо-

левания брюшным тифом в 1922 получил разрешение выехать за границу для лечения. В июне 1922 г. Зайцев вместе с семьёй переехал в Берлин. Активную работу вёл в журналах «Современные записки» и «Звено». В декабре 1923 г. с семьёй уезжает в Париж, где проживёт около полувека. Первое издание «Сочинений» вышло в 1916–1919 гг. в «Книгоиздательстве писателей в Москве». В 1918 г. вышла повесть «Голубая звезда». Откликом на современные события стал сборник рассказов «Улица св. Николая» (Берлин, 1923). Одновременно выпустил сборник «Рафаэль» (Москва, 1922) и книгу очерков «Италия» (1923). В годы эмиграции Б.К. Зайцев опубликовал 30 книг на русском языке и более 800 текстов в периодических изданиях (почти все написанное им в этот период). При его жизни сочинения были переведены на английский, болгарский, венгерский, испанский, итальянский, немецкий, нидерландский и др. языки. Б.К. Зайцев писал, что «годы оторванности от России оказались годами особенно тесной с ней связи в писании. За ничтожными исключениями все написанное здесь мною выросло из России, лишь Россией и дышит». Весной 1927 г. совершил поездку на гору Афон, после которой появились книги очерков «Афон» (1928) и «Валаам» (1936), ставшие впоследствии лучшими описаниями этих святых мест во всей литературе XX века.

С 1925 по 1929 гг. в газетах «Возрождение» и «Дни» была опубликована первая часть дневниковых записей «Странник». Данные записи посвящены жизни во Франции. Помимо этого Зайцев занимался подборкой материалов для литературной биографии И.С. Тургенева, А.П. Чехова, В.А. Жуковского, которые впоследствии были опубликованы. После того, как Франция была оккупирована Германией в 1940 г., публикаций Зайцева в русских изданиях не было. В эти годы писатель всячески отказывался делать свои выводы о политических неурядицах. Но продолжает работать, так, в 1945 г. выходит в свет повесть «Царь Давид». В 1947 г. Зайцев работает в парижской газете «Русская мысль», в этом же году его избирают председателем Союза русских писателей во Франции. Данная должность остается до конца жизни. Писатель является одним из учредителей и членом общества «Икона» в Париже (1927). В 1950-е гг. стал членом Комиссии по переводу на русский язык Нового Завета в Париже. В 1964 г. он издает свой последний рассказ «Река времен», впоследствии давший название последней книге.

Борис Зайцев скончался в Париже 28 января 1972 г. в возрасте 91 года. Похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

## Авдотья-смерть

РАССКАЗ

### I

Через два дня, как выпал снег, когда в комнатах стало светлее, и вместо тряской, мерзлой земли розвальни заскользили по белеющей прохладе, когда запахло до слез остро снегом и пронзительно-горестно выступили свинцовые дали, — в деревушке Кочках у комиссара Льва Головина появилась баба. Лев, человек огромный, вялый, с грыжей, с большим носом, рыжеватой бородой, привык ничему не

удивляться. Он копошился у розвальней, ладя по-новому оглоблю, когда высокая тощая баба окликнула его.

— Мы самые и есть, — ответил Лев, с усилием, изо всех сил затягивая петлей веревку. — А ты кто же будешь?

— Что ж, милоч, или меня не узнал? Еще Матюшкина-то вдова, вашего же, кочкинского? А как я теперь без пропитания, да бабка на руках слепая — разрази ее Господь, — да Мишка несмышленный, жрать-то нечего, прямо как рыбочка бьешься...

Баба мало была похожа на рыбочку, говорила низким, почти мужским голосом, но всхлипывала искренно.

— Ну, вот, я сюда и подалась, и подбежала...

— Та-ак... — Лев равнодушно почесался. — Матюшкина вдова? Да он что ж, у нас жил? Он у нас, почитай, и не жил. Все в городе околачивался.

— Как так околачивался? Забыл ты все, милоч, и меня, тетку Авдотью, не признал...

— Тебе чего же надо?

За плечами у Авдотьи висела котомка. Худа она была до чрезвычайности. Опираясь на длинную палку, пристукнув ею, придвинулась шага на два.

— Как чего? Вы-то, небось, барскую землю забрали, а ведь я тоже общественная, как рыбочка бьюсь, бабка слепая, Мишка несмышленный...

Дело было ясное, несмотря на множество ненужных слов. Она хотела, чтобы ей прирезали земли. Лев это сразу понял, но сначала сделал вид, что не понимает, а когда долее не понимать стало нельзя, принялся равнодушно объяснять, что хоть и правда взяли землю у господ, но ее стало даже меньше. Лев Головин глубоко был уверен в правде своих слов. Но сразить Авдотью тоже нелегко. На слово она отвечала десятью, бледные ее губы дрожали, мужской голос хрипел свое, она постукивала палкой и плотнее наседала на Льва.

— Тогда уж надо обществу... как общество тебе решит, так и быть.

Под тогда Лев разумел: если уж ты такая стерва, что от тебя мне не отделаться, так пускай общество отделяется.

И как ни безразличен, медлен, от ноющей грыжи, ни меланхоличен был комиссар Лев Головин, все же ему пришлось под вечер создавать сход и доложить о деле. Никому не было оно в радость. Но Матюшка, правда, некогда жил в Кочках. У него нашлись даже родственники. Авдотья, как приبلудный пес, сидела на крыльце и грызла корку.

— Я это, значит, оглоблю лажу, — рассказывал комиссар медленно и грустно, — а она вот как вот... И откуда ее принесло? Из-под земли выскочила! Или уж ее ветром к нам надуло, со снегом, по первопутку?

— Ее надуеть! — сказал кривенький мужичонко Кузька. — Она сама, смотри, какого ходака задает. Я видел. Я с ней говорил. Прямо... Из ноздрей огонь. Что твой скакун.

— Как ее упокойный муж, действительно сказать, был наш кочкинский, то не миновать нам дать ей землицы, что мы на этом сходе и должны привести в действие, — бойко произнес одутловатый человек с шарфом на шее, бывший приказчик, а ныне состоятельный крестьянин Федор Матвеевич, и этим решил дело.

Постановили земли дать на одну душу. Поселить в бывшей господской молочной.

Узнав об этом, Авдотья перекрестилась, низко поклонилась мужикам и, взяв свою палку, огромными шагами зашагала первопутком к станции — за Мишкой и бабкой.

— Видишь, как чешет, — сказал Кузька. — За ней на мерине не уgonишься. Авдотья быстро скрылась во мгле.

## II

«Бывшая господская молочная» — значило небольшая изба, с земляным полом, где некогда гудел сепаратор. Рукоятку его вертела тогда Маша Головина, она же наливала фляги Николая Степановича и отправляла их на станцию. От этого былого, как от романа Маши с Пермьяковым, мало что осталось, кроме самой избы. Крестьяне деревушки Кочки давно забрали барских коров, и с огорчением сами вынуждены были их отдать в совет. Сепаратор продали куда-то. Николай Степанович, столь любивший чинность и порядок, так и умер в очках и старой своей форменной тужурке. И из большого дома, со второго этажа которого был виден пруд, угол липового парка и бугор перед глазами, замыкавший горизонт, Варвара Андреевна не по своей воле переселилась во флигель. Но как раз она и изменилась меньше всех. Хотя владела лишь наделом (считаясь членом кочкинского общества), но так же строго и спокойно принимала комиссара Льва Головина на кухне, говорила ему «ты», и в бобровой шапке, шубке, с палочкой, медленно и властно обходила прежние свои владенья, заглядывала в амбар, половину которого — награду за боевые заслуги — увез летом красноармеец Филька, подкармливала кур и голодных стариков, занимавших часть большого дома, продавала мельнику-соседу кое-что из старья, и, как и встарь, обладала непререкаемым авторитетом. Лиза за это время потеряла мужа. Возвратилась на родное пепелище — в прежней девической своей комнатке учила кочкинских детей — все как по-старому.

Когда в один прекрасный день Авдотья со слепой бабкой, с Мишкой, двумя петухами, сундуком и разным жалким скарбом ввалилась в усадьбу, Варвара Андреевна не удивилась. Она вообще была выдержанна, за это же время ее старые, некогда очень красивые глаза привыкли все принимать как должное.

— Еще одна пансионерка у нас появилась, — сказала она Лизе, отдавая комиссару ключ от избы. — В молочной будет жить.

Варвара Андреевна произносила «пансионерка» с французским выговором, так учили ее некогда в Петербурге, в пансионе мадам Труба. Но мало похожа Авдотья на прежних ее сотоварок.

— Подумать только, что вот и эта Авдотья была молода... Может, любила кого, замуж выходила...

— Ну, это ничего не значит. Знаешь, как у них: нужна работница в дом. А невеста смотрит, какая у жениха стройка.

Варвара Андреевна вообще была скептик. На многое, что волновало или восторгало Лизу, смотрела равнодушно. Лиза так привыкла, что всегда мать для других жила — для отца, для нее, Лизы, — так ей было ясно, что некрупная старушка эта есть образец безупречный, что даже этот холодок был свой, давно привычный. Как привычно, хоть и грустно, было то, что мать безразлична к вере.

Авдотья же не занималась тонкостями, нежностями. Она кипела. Ей все равно, верит или нет слепая бабка. Но огорчало, выводило из себя, что бабка «много жгрет».

— Ах ты, пралик тебя расшиби, волосатик тебя заешь, — кричала она мужским голосом, — да что ж мне на тебя, на старую кобылу, милостынку собирать?

Я бегаю, бегаю, прошу у добрых людей, все ножки отбегала, а она жгрет да жгрет, знай лопаает, у-у, вредная стерва...

«Стерва» безответно сидела на завалинке, пялила слезящиеся бельма и ждала, когда дочь даст ей по уху. Ждала не напрасно. Мишку Авдотья трепала за уши, а бабку била кулаком, иногда палкой, прямо по лицу. Бабка стонала — по старости громко кричать не могла. На другой день лицо ее покрывалось зелеными пятнами.

На одну из таких расправ наткнулась случайно Лиза. Как и в детстве при виде жестокостей и надругательств, вся побелела, и сразу почувствовала тошноту.

— Что вы делаете, Авдотья...

Обернувшись, та увидела «молодую барыню» — и сама испугалась: не грозности этой барыни, а того, что она все-таки «барыня».

И отскочила от бабки.

— Да я, милоч, я это маленько... только что поучила... У-у, она вредная... вы ее, барыня, не знаете.

— Да ведь она вам мать...

— Только и делает, жгрет с утра до вечера, а уж я и все ноженьки отмотала... Ты чего, паршук, смотришь, — крикнула на Мишку, с любопытством взиравшего, как «учат» бабушку. — Я тебе задницу-то надеру, колесом у меня пойдешь, сукин кот...

— Сама сука... — Мишка осмелел, что рядом Лиза, и, шморгнув носом, стреканул ко флигелю.

Лиза почувствовала, что дальше ничего сказать не может, расплечется, — и, махнув рукой, пошла к себе во флигель. Варвара Андреевна много спокойнее отнеслась к делу.

— Ты очень жалостливая, и всегда такая была. С ними нужно крепче нервы. Они все такие. А ты думаешь, другие лучше? Они не так чувствуют, как ты...

— Ах, мама... бабка старая, слепая. И с каким ожесточением она ее колотит...

— Ну, кто же говорит! Кто это одобряет! Вот придет ко мне, я ей такой реприманд сделаю...

Авдотья заявила в тот же день, в сумерки. Клуб пара и холода ворвался в кухню, когда, костлявой рукой резко дернув входную дверь, она вошла с мороза. В руках длинная палка. Как всегда, рваный тулуп, глаза белесы, беспокойны.

— Я к вашей милости, матушка-барыня. Там вот это, позади хригеля вашего березочка одна такая... на кой она вам? А я прямо мерзну, силушки моей нет, пол холодный, бабка жалится...

Варвара Андреевна стоит посреди кухни, около плиты, и смотрит, как вскипает каша.

— Нет, нет, березку не позволю. Это баловство. Руби хворост в овраге. Там сколько угодно. Да вот еще что: если ты у меня в усадьбе будешь драться, так смотри...

— Что вы, что вы, милоч барыня, какое драться, я и отродясь-то не дралась, я смиренная бабочка.

— Если будешь со своей старухой скандалить, так и духа твоего здесь не окажется...

Авдотья продолжает уверять, что она самая тихая бабочка. Но для барыни готова даже не учить свою стерву, а в овраг, что ж, в овраг, конечно, можно сходить порубиться...

Тон Варвары Андреевны действует. Быть может, кажется Авдотье, что если барыня так властно говорит, значит, и власть имеет выставить ее из молочной. Собирает ли о том, что самое Варвару-то Андреевну и Лизу много легче вышвы-

рнуть из флигеля, чем ее из молочной? Как бы то ни было, по остатку ли боязни, в надежде ли на мелкие подачки — их делают на кухне постоянно, — Авдотья удаляется покорно.

Смирно меряет саженными шагами путь домой. Из окна смотрит Лиза, задумчиво, с сумрачным недоумением.

После ужина мать в столовой под висячей лампой раскладывает свой пасьянс. Лиза говорит:

— Знаешь, когда она так шагает, и с этой палкой... ну точно смерть. Прямо скелет, кости гремят, и за плечами коса.

Варвара Андреевна из-под пенсне поднимает на нее красивые и строгие глаза:

— Ну какая там смерть. Просто попрошайка. Это тебе все кажется.

### III

Николай Степаныч лежал за церковью на кладбище под белым березовым крестом. Зимний вечер трепал тонкую кожицу бересты, наносил сугроб, заметал засохшие цветы и мелкой снежной пылью пел вечную песнь печали и бренности. Лиза иногда заходила к отцу. Пробиралась полузанесенной тропкою, стояла, разгребала цветы, поправляла перекладину, крестилась, и так же истово и медленно шла домой. Нечто монашеское в ней проступало.

Близ ограды парка, из-за поворота вдруг вынырнула как со дна морского длинная и тощая фигура с палкой и котомкой за плечами.

— А я, милоч барыня, в Аленкино добежать, сказывают, мануфактуру привезли, по полтора аршинчика выдают... Я тут одним махом, к обеду домой...

«В Аленкино... — Лиза медленно подходила к дому. — Десять туда, десять обратно, к обеду домой...» И обычная тоскливость, тяжесть встречи легла на сердце.

Авдотья же в это время, на длинных своих ногах, точно бы на ходулях, неслась в горку за речкой, откуда виднелась и церковь, и парк, и двухэтажный «господский» дом. Если бы обернулась, увидела бы и крест Николая Степаныча, но оборачиваться ей некогда, впереди поля, белые и холодные, дальние, с резкой поземкой по насту, летящей и вьющейся ледяными струями, — как они извиваются, то вздувают сугроб вокруг елочки-вешки, то сметают с обледенелой лысины все дочиستا! То шагает она по дороге почти что скользкой, то вдруг вязнет чуть не по колено — в малейшем ложочке. А времени небогато, засветло обернуться, да по дороге, в Кунееве, хлебушка раздобыться... хоть горбушку — и самой голодно, да и Мишка все ноет, и бабка...

— О Господи, да убери ты их от меня, окаянных праликов! Заточили, треклятушие!

После «реприманда» Варвары Андреевны Авдотья первое время была потише, но потом приловчилась и била старуху с не меньшим усердием, но тайно, и запирала в избе, пока синяки не сходили. Била за все — за разбитую по слепоте чашку, за то, что обмочилась, что дверь не прикрыла. В этом-то исходила некая сила, гнездившаяся в поджаром Авдотьином теле, та сила, что гнала за десятки верст по снегам за аршинчиком ситца, краюшкой хлеба для той же «стервы». Она и сражалась, носилась, выклянчивала — в этом кипении жизнь.

И вот наступило время, когда предназначено было бабке отдохнуть от войны и боя. Авдотья в то время рыскала далеко. Мишка же с любопытством и в одиночестве слушал, как бабка стонала, охала, смешно икала. Пользуясь тем, что нет мате-

ри, Мишка босой вылетал из молочной, с криком победы, марш-марш пронесился взад-вперед по дороге. Это казалось ему смелым, прекрасным.

Когда в последний раз он вскочил в избу, бабка уже не икала. Мишка потрогал ее за рукав, она не шевелилась. Он испугался, побежал к «барыне».

На другой день Авдотья с утра заявила к Варваре Андреевне.

— Барыня, дозвоьте ту сосенку-то, во-о, над прудом, мужичкам срезать, там аккурат моей гроб выйдет — ох, уж долгая же уродилась, прости Господи...

Авдотья была сумрачна и озабоченна, и опять недовольна, да и правда, выросла же бабка такая «долгая», чуть ли не полсосны под гроб... Да еще захотят ли «мужички», а за попом... Ах, жизнь каторжная!

— Да-а, — говорил под вечер Лев Головин, со всегдашней медленностью и грустью, плотнику Григорию Мягкому, который пилил с Кузькой доски на гроб. — Вот и накрыла бабенка. Теперича она на нас поедет. То ей подводу дай, то дровец наруби, то вот зачнут помирать, тут и гробов не наготовишься.

— Где наготовиться, — мрачно сказал Мягкий.

— Ты погоди, вот придет весна, ты на нее напашешься. Земли ей дай, лошадь скородить дай... ты ей все дай, а она тебе, знай, как домовой кружить будет. Ныне тут, завтра в Аленкине, а там, смотри, до Страхова докинется...

Лев Головин вздохнул.

— И как это она тогда, точно из-под земли выскочила... Или ее ветром надуло?

Голодный поп быстро отпел бабку в нетопленной церкви. Бабка лежала в гробу мерзлая, синяки на лбу и щеке пожелтели, и все худое, костлявое, и очень длинное, что когда-то носило имя Елены, и пело песни, быть может, любило, — на серых суровых полотнищах сошло вглубь земли, рядом с Николаем Степанычем. Лиза бросила ей — первая — горсть земли. И Авдотья завывала: так полагалось в деревне, а может быть, не только что и полагалось...

Мишку весьма занимало, куда прячут бабку, но мешал кашель, начинавшийся с раннего утра. Мишка зяб, дрожал. Вернувшись с похорон, забился на печку, где прежде грелась бабка.

— У-у, дармоед, знай, по лежанкам лазить!

Авдотья гремела посудой, скребла, терла, была в сильном возбуждении, сама как будто бы не знала твердо, плакать ей или ругаться. На всякий случай дала Мишке подзатыльника, чтобы не «лаял». А он лаял здорово, всю ночь. Авдотья даже иногда сквозь сон слышала кашель, и с остервенением переворачивалась — поспать не даст, пралик! Вообще, тяжело как-то и скверно было. Мерещился все холод, и поля, свист ветра, белые змеи метелей... В избе сильно дуло из окон и снизу, с полу.

На другой день Мишка не поднялся. Авдотья было разозлилась, но, увидев, что он весь горячий, кашляет и глаза мутные, не тронула. Укрыла его бабкиным тулупом, а сама пошла к «барыне» за подмогой.

— Он у тебя босиком по улице носится, вот и дождалась, — сказала строго Варвара Андреевна. — Смотри, чтоб воспаление легких не схватил.

— Да что мне, барыня-милок, что мне со стервецом поделать? Я уж ему и то говорю: запорю, сукин кот, сиди дома, уши оборву...

— Нет, нет, ты, пожалуйста, потише. Здесь не кабак.

Лиза заходила к Мишке несколько раз.

— Как у них ужасно, — говорила потом матери. — Воздух... грязь, какой-то мрак, холод... Я прямо боюсь этой Авдотьи.

— Ты всегда была такая нервная. Ну, а уж теперь, после смерти мужа... Авдотью бояться! Противная баба, больше ничего.

Лиза решила — правда, стыдно так бояться и не любить. Надо за нее молиться. И с этого дня стала она в одинокой своей молитве, поминая ближних и дальних, прибавлять имя Евдокии. Когда мысленно, стоя на коленях, в темноте, называла ее, казалось, что это не совсем та, Евдокия была как-то лучше, благообразнее, чем Авдотья-смерть. И после, раздумывая, Лиза даже стыдилась, что назвала ее смертью. «Господи, вот святые лобызали прокаженных...» И содрогалась. Если представить себе, что надо поцеловать эти белые губы Авдотьи, костяной оскал с запахом гнили, могилы, с фосфорическим блеском глаз полуголодных... Нет, видно, она недостойна!

Мишке давали, что нашлось в старой аптеке: хину, аспирин. Но он непрерывно кашлял. Метался, хрипел, и сама Авдотья вдруг стала понурой, тише мерила ходулями своими землю. Все-таки ухитрялась «добегать» к соседям, за две версты к мельнику, в Козловку к Аксюше Лапочке.

Однажды, в холодный предрождественский день, пробежавши верст шесть, в сумерки возвращалась она домой, таща за плечами, в котомке, кое-что снеди. Привычно полаяли на нее собаки в Кочках, привычно шумели березы по канаве, окружавшей усадьбу. Станным казался лишь слабенький отблеск в окне молочной. «Не спалил бы, пралик...» И она надала ходу. Костлявой рукой крепко двинула дверь. Мишка лежал на спине, неподвижно, красные его ручки сложены крестобразно, в головах теплится свечка. И Лиза. В руках у нее Псалтырь.

Авдотья не сразу сообразила. Холодная струя ворвалась за ней, она не успела захлопнуть двери, остановилась, смотрела бессмысленно на остренький носик Мишки, на бледную Лизу с глазами во влажном блеске, и вдруг вопль, хриплый, глухой, поразил смрадный воздух — как стояла, рухнула Авдотья с палкой своей, с котомкой, к холодным ручонкам сына.

— Сокол ты мой ясный, орел золотой, дитя ненаглядное...

## IV

Дитя ушло, не много вкусив в жизни. И не велик был гроб, из той же сосны, творенье тех же старческих рук Григория Мягкого. Он лег рядом с бабкой, в нескольких шагах от Николая Степаныча.

— Ну, теперь ей будет послободней, — сказал Лев Головин, возвратившись с кладбища, — двух ртов нету. Это уж куда слободнее!

Но мужичонка Кузька заметил скептически:

— Смотри, дядя Левоу, она теперь бобылкой будет, вовсе нас окрутит. То ты за нее подводу в город, по весне ты на нее паши... Нет, нам не отвертеться.

Авдотья, правда, стала теперь послободнее. Не было двух праликов — и никого на свете больше не было. Незачем волноваться, некого бить, не на кого жаловаться, но и не с кем дома сказать слова.

Встретив как-то Лизу, Авдотья сапнула носом:

— Вот, барыня-милок, и дождалася... Враз и отчистилась...

Дома Лиза, сидя с матерью за обедом, сказала внезапно:

— Все-таки мне очень жаль Авдотью.

Барвара Андреевна повернула к ней свой тонкий профиль и взглянула темными красивыми глазами:



— Ведь она сама того хотела. Сколько раз говорила. А старуху, в сущности, заколотила.

— Да, но все-таки...

Лиза осталась при своем.

— Ты всегда, с детства, была мягкосердечна...

Разговор был разговором, канул, как и все, в пучину дней. Дни же набегали, пролетали. Мужики в Кочках хозяйничали, бабы возились с горшками и печками. Лиза учила, Варвара Андреевна наблюдала, Авдотья, как и раньше, все носилась. Казалось иной раз, при виде поджарой бабы с котомкой и палкой, без усталости над снегами шагающей, что и правда, сам ветер несет ее...

Наступал Новый год. Ледяное встает солнце в молочно-розовеющем дыму, с востока ветер, обжигаящий, как пламенем, снег на буграх блестит чешуйками, режущими глаза, нет сил смотреть, только бы укрыться, отвернуть голову в затишье поднятого воротника. Но какой скрип саней! Какая музыка шипенья, визгов, свиста!

Она иной бывает в дни метели. Тогда гудят какие-то могучие басы, и ухаает, и бьет — на флигель, где ютятся Лиза с матерью, вдруг налетит целая рать бешеная, хлопнет, затрясет крышей, ахнет в трубе, смолкнет на мгновение, чтобы дать место следующей, и к утру так навьет сугроб у сеней, что не отворить двери — откапывают.

В такой день возвращалась Авдотья домой из Аленкина. Вышла сразу же после обеда. Было бело, дымно-молочно, не очень уж холодно — она зашагала своими ходулями, но через час приуслала. Забрела в Выселки, к тетке Агафье, погреться, вздохнуть. Агафья дала ей даже чайку. Выпив, та вовсе воспрянула. Хоть и темнело, решила идти.

— Я тут, милок, одним духом... Рожицу пробегу, а уж там все под горку, так ветром домчит.

Рожицей, недавно вырубленной, а теперь заросшей тонкими осинками, орешником, дубками, идти было сносно. Метель бесновалась по верхам, рвала, расшвыривала по всему полю бурые листики, уцелевшие на дубках, свистела в голых ветках, наметала сугробы у штабелей дров на просеке. Но в поле пощады не было. Авдотья все же резво и упрямо шагала под гору, там в двух верстах внизу Кочки. Лесок быстро исчез, и ветер как-то бил с разных сторон. Снег залеплял глаза, иной раз и дыханье захватывало. Вдруг стало по колено, следующий шаг по пояс. Попробовала повернуть. Несколько шагов верных — снова сбилась. Туда, сюда, везде «глыбко». Помучилась, побилась, и решила взять направо, целиком, и до ложочка. А ложочек прямо к Кочкам.

Добралась до куста и обрадовалась — ну, сейчас ложочек, и все ясно. Ухнула за кустом в овраг — так и надо, отлично. Стало как будто тише, но уж очень много снегу...

В этот же вечер перед сном стояла на молитве Лиза. Было темно, ревела за окном метель, Лиза клала поклоны, молилась за убитого мужа, за мать, за себя. Поминала и Мишку, и бабку. Дойдя до Евдокии, вдруг увидела: ложбинка, вся занесенная снегом, и белые вихри и змеи, фигура высокая, изможденная, с палкой в руке, котомкою за плечами, отчаянно борется, месит в овраге снег, и в белом, в таком необычном свете Мишка и бабка вдруг появляются, берут под руки, все куда-то идут... Господи, заступи и спаси!

На этот раз напрасно плакался Кузька. Гражданам деревни Кочки не было уж никаких забот, и никаких хлопот с Матюшкиной вдовой Авдотьей.